

Танкер «Дербент» : Стахановский рейс -4

Category: Kitarcsy, Powestler

написано kitarcsy | 24 января, 2025

Танкер "Дербент": Стахановский рейс -4 4.

Около полуночи штурман Касацкий вышел из каюты. Преувеличенно твердо ступая по влажному настилу, он прошелся вдоль спардека и прислонился к шлюпбалке, подняв вверх острый подбородок.

На краю неба, в сизых облаках, блестел язычок молодого месяца. Дрожащее зарево портовых огней утопало в море.

Касацкий ахнул, позевывая, передернул плечами и пошел, четко выбивая каблуками, мимо вахтенного, посторонившегося при его приближении, по трапу на мостик, мимо рубки, вниз, – и вот опять та же шлюп-балка, изогнутая в виде вопросительного знака, с блоком на конце, мокрый брезент, осыпанный блестками месяца, огни на клотиках мачт, огни на краю моря.

– Домзак! – громко сказал Касацкий, вздрагивая от звука собственного голоса. – Прогулка окончена. Не угодно ли обратно в каюту, Олег Сергеевич?

В коридоре под потолком горели матово-пыльные лампы, белели дощечки на дверях. Внизу звякнуло. Из каюты Алявдина сладко в тишине занял патефон. Штурман качнулся на каблуках и загремел связкой ключей.

– Танцуете? – пробормотал он сквозь зубы. – Танцуйте, кретины! А все-таки вы в домзаке...

Он вернулся к вахтенному.

– Хрулев?

Матрос вытянулся, смутно вырисовываясь в темноте.

– Подойди ближе. Ну, как у вас там дела? – спросил Касацкий, зевая. – Скучно, брат.

– Оно конечно. Ночная вахта – собака.

Хрулев переминался с ноги на ногу, стараясь разглядеть лицо штурмана.

– Ну, как, ты доволен работой? – небрежно спрашивал Касацкий.

– У нас перемены большие – премиальные получаем. Ты рад?

– Конечно рад, а то как же...

– Значит, доволен?..

– Да ведь как сказать...

В темноте лица их неопределенно белели, и голоса нащупывали друг друга осторожно.

– У нас ведь завелись знатные люди. Как это тебе нравится? Почитать газеты, так можно подумать, что один татарин Гусейн выполняет план, а другие – так себе, мусор.

– Это что и говорить. Страсть обидно...

– Уж тебе-то, брат, никогда не быть знатным. Фигура не та. Вот мальчишка-радист – другое дело.

– Ну, это еще посмотрим! Вчера у них двигатель зашалил. Освещение погасло... Я все замечаю.

– Молодец, у тебя голова на плечах. Ты должен знать обо всем, что делается на танкере. Сегодня двигатель, а завтра еще что-нибудь зашалит. Тогда мы сумеем поставить все на место.

– Кабы в открытом море авария...

– Ч-ш-ш!.. Что ты такое говоришь? Кто там стоит внизу?

– Боцман; он плохо слышит.

– Хорошо. Тебя учить – только портить. Ты понимаешь, что на мне теперь все держится? Капитан у нас – пустое место.

– Старичок, – хихикнул Хрулев, пододвигаясь. – Я все замечаю. Так что не сомневайтесь, Олег Сергеевич.

– Молодец. Я буду разговаривать с тобой, когда найду нужным, – говорил Касацкий, поглядывая на далекие огоньки в море.

Он повернулся и снова проделал весь уже пройденный путь.

Одна из дверей приоткрылась, в нее просунулась круглая голова, покрытая редкой серебряной щетинкой. Голова замерла неподвижно, поблескивая стеклами очков.

– Евгений Степанович! – радостно воскликнул Касацкий. – Неужели вы не спите еще? А я мучаюсь, родной мой! Болит вот здесь, – он приложил ладонь к груди, – огромный злой червяк, червячище... Он меня съест когда-нибудь, вот штука! Но как же вы не спите?

Капитан протиснулся сквозь дверную щель и погладил череп.

– Я перечитывал «Песнь о Соколе», – сказал он, размягченно

улыбаясь, – помните ее, голубчик?.. «Рожденный ползать летать не может»... Сколько в этом гордости для крылатых и сколько горечи... для тех, кто не может летать!

Касацкий захохотал.

– Дуся мой, все это вздор... Но я рад, что вы не спите. – Он качнулся на каблуках и с пьяной нежностью вытянул губы.

Капитан отодвинулся и пошевелил ноздрями.

– Вы пьяны, Олег Сергеевич, – сказал он печально. – Когда же это кончится у вас? Поправьте фуражку.

– Пьян, конечно, пьян! Чем же еще прикажете заниматься в домзаке! Остается глушить водку и изучать классиков. Зайдите ко мне в каюту. Евгений Степанович, зайдите хоть на минуту! Такие страшные сны... Вы не откажете мне в этой услуге, в этой маленькой, крошечной любезности? Такая тоска... Сейчас я отопру мою камеру... Именно – камеру. Ведь мы в домзаке. Да не оглядывайтесь, никого нет, мы одни! Вот и по вашему лицу видно, что вы находитесь в домзаке. Вы добродетельны, несчастны и не можете отсюда уйти. Разве в воду?

Вслед за помощником вошел в каюту Евгений Степанович. На столике чернильница и замысловатые старинные часы, – мерно и дробно танцуют блестящие колесики, пульсирует пружина, качается на трапеции, гримасничает крошечный фарфоровый паяц. Зеленый свет из-под абажура, мягкий коврик под ногами. Пахнет спиртом, духами, медовым табаком. Уютно, тепло, красиво. Но Касацкий судорожно скалит белые зубы и говорит о тоске, бессоннице и страшных коротких снах.

– У меня здесь никого нет, кроме вас. Мне хочется, чтобы меня поняли вы один. Что толку, если мне посочувствует, например, Бредис, прочтет мне мораль и скажет, что я осколок умирающего класса? Скверно быть осколком, бесполезная вещь, к тому же можно порезать руки, а? Ха-ха... Выбросить осколок, чтобы не мешался, выбросить сейчас же вон!

Касацкий округлил глаза и затопал ногами с каким-то полушутовским, полуискренним бешенством. Каждый мускул дрожал на его искажившемся лице. Потом он вытер лоб и улыбнулся слабой, усталой улыбкой, как артист, исполнивший трудный номер.

– Но я не хочу, чтобы меня выкидывали, вот ведь какая штука! – продолжал он, таинственно понижая голос. – «Мейн кафе шмект мир нох зер гут», – как говорят старые немки. Что прикажете делать?

Евгений Степанович тяжело повалился в кресло, сложил на животе руки и вздохнул.

– Чепуху вы какую-то несете, – промолвил он нерешительно. – Кто это вас выбросит? И вообще... зачем вы пьете, если потом не находите себе места? На вас лица нет.

Касацкий заходил по каюте.

– Скажите, не кажется ли вам иногда, что вы старый-престарый? Не дряхлый, нет. Именно старый, такой, как мшистый камень персидской стены в нашем городе?

На ваших глазах жили и умерли десятки поколений, и вы переживали с ними каждую их ошибку, каждую глупость. Открывали материки, строили пирамиды, издавали законы. И вот уже заселены и возделаны материки, скучающие туристы глазят на разбитые статуи.

На месте древних кладбищ и битв построены скотобойни и общественные сортиры. Люди торопятся жить, как будто им предстоит совершить что-то невиданное. Попробуйте их разубедить. Они столкнут вас с дороги и пойдут вперед не оглядываясь. Но не в них дело. Вы-то, вы, каково ваше положение? Вы стары, и вам давно надоело все. Что тут поделывать? Сбежать в тайгу, где вас непременно сожрут, волки? Или притвориться, что вы поверили солнцу сегодняшнего дня, и идти вместе с теми, кто заново переделывает жизнь? Вам дадут место в строю, всеобщее уважение и хлеб с маслом. Но это очень тяжело, очень утомительно, а главное – люди вокруг вас дерутся не на игрушечных саблях. Они ведут войну. насмерть и павших чувствуют, как героев. Чтобы не выдать себя, вам приходится лезть в огонь. Но ведь вы и притворяетесь только для того, чтобы сохранить свою жизнь, которая, черт знает почему, вам все-таки дороже всего. И вот вы ломаете комедию, вы багровеете от натуги и кричите, как клоун, поднимающий бутафорские гири. Рано или поздно обнаружится, что ваши гири из бумаги, и вас с позором вышвырнут со сцены, а заодно лишат вас и хлеба с

маслом, из-за которого все и пошло. Игра не стоит свеч, как говорится. Притом вы заранее знаете, что рано или поздно это случится... Евгений Степанович с тоской посмотрел на часы. Спать уже не хотелось, но он чувствовал какое-то оцепенение, тяжелую апатию, которая, казалось, вдавила его в кресло.

– Не понимаю, куда вы гнете, – сказал он глухо, с раздражением вглядываясь в лицо собеседника, – это аллегория какая-то! Вы это про себя, что ли?

– Аллегория! Вот именно аллегория! – подхватил Касацкий в восхищении. – В этом слове все наше положение. Настолько осторожны даже друг с другом, что прибегаем к помощи аллегорий. Ах, умники, ах, подлецы бывшие люди! Однако что вы обо всем этом думаете?

– Я думаю, что вы просто пьяны... Здоровый человек содрогается от таких мыслей. От них смердит.

– В самом деле?

– Да. Мы не смеем говорить так о прошлом. Все эти ваятели, и полководцы, и даже алхимики были по-своему правы, и они были неизмеримо выше вас, потому что верили и искали. Без них мы не знали бы того, что знаем теперь.

– Но ведь они сгнили! – крикнул Касацкий. – Ну, зачем они мучились? Осчастливили, примирили кого-нибудь, сами были счастливы? Ерунда!

– Ах, вы ничего, ничего не понимаете!

– Вдумайтесь, Евгений Степанович. Через сто лет гвоздя после вас не останется... однако черт с ним, с прошлым! Разве о нем я говорил сейчас? Вы меня поняли, надеюсь?

– И да, и нет. Я понял только, что вы ненавидите тех, внизу. Ненавидите за то, что они молоды и готовы жертвовать собой, за то, что они счастливы и слушают музыку. Вам недоступно их счастье и их вера в будущее. В этом будущем для вас нет места. Вы слишком... чужой. Но ваше притворство страшное, Касацкий. Как вы держались на собрании! Вы даже оскорбили меня немного, но я не сержусь. Иногда я становлюсь противен самому себе... Но как вы-то можете с вашими мыслями? Когда-нибудь на вас покажут пальцем и крикнут: он притворяется!

Последние слова Евгений Степанович произнес почти шепотом.

Лицо его побледнело, и на лбу выступил пот. Касацкий покачивался на каблуках и скалил зубы. Казалось, он слегка вздрагивал от каждого слова собеседника, словно от невидимых уколов.

– Ни черта я не боюсь, – отрезал он грубо, – чтобы разобрать меня, у них не хватит мозгов. А вы меня не выдадите, дуся мой, мы с вами связаны крепко. Я вам ближе и понятней, чем механик Басов. Не машите руками!

Касацкий заходил по диагонали каюты, ловко поворачиваясь на углах. Тень его то сжималась в упругий комок под ногами, то, распрямляясь, кидалась на стены.

– Я плюю на их суд, – бормотал он невнятно. – Они не могут проникнуть в извилины моего мозга. Но если бы они только знали...

Он подошел к столу и медленно отвинтил пробку черного термоса. Вздрыгнул, когда забулькала в стакане прозрачная жидкость, выпил залпом и прикрыл ладонью губы. Отщипнул кусочек хлеба и бросил в рот.

– Послушайте, хватит наконец, – слабо запротестовал Евгений Степанович, – право, я уйду сейчас! Перестаньте!

В каюте сильнее запахло спиртом. Внизу патефон ахнул в последний раз, рассыпался дребезгом и затих. Касацкий замер у стола, запустив в волосы длинные пальцы.

– Так... Мне хочется рассказать вам кое-что. Не думайте, что меня съедает раскаяние или я боюсь своих мыслей. Нет, нет! Пусть узнаете об этом вы. Вы один. Я уверен, что в основном мы мыслим одинаково, хотя вы и цитируете классиков. Так вот... представьте, что однажды я чуть было не пожертвовал собой. Не верите? Я серьезно. Впрочем, это было давно, в девятьсот шестом. Видите, я даже даты привожу, – значит чистосердечно, без аллегорий... Скверное было время. На улицах степенные лавочники, притонодержатели и проходимцы из «Союза Михаила Архангела» избивали рабочих и студентов. На квартирах стрелялись одинокие надорвавшиеся люди, – те, кто уже ни во что не верил. А либеральные присяжные поверенные и зубные врачи, которые прежде умеренно политиканствовали, попрятались за занавески и даже по нужде ходили не иначе как с

таинственным, скорбным видом. Паскудное, жуткое время! Вспоминаете? Небось, тоже отсиживались? Ну, ну, я шучу, конечно! А меня вот не на шутку захватила эта буря. Подкинула и завертела так, что удержался я на самом краю пропасти. Ноготком мизинца зацепился... Не понимаю, что побудило меня тогда ввязаться в борьбу. Жажда ли приключений, романтика паролей, явок, оружия в кармане, оружия на чердаке и так далее. Или же просто дух времени для людей впечатлительных – могучий фактор. Думаю, что и то и другое сыграло известную роль.

...В то время я окончил корпус и служил в Кронштадте на фортах. Летом в крепости стало тревожно. Вернулся с Дальнего Востока крейсер «Громобой». После цусимского разгрома матросы были злы как черти – ходили ватагами, собирались на перекрестках и грозили кулаками офицерам. Из подпольной организации я знал немногих. По большей части это были простые люди: матросы, саперы, механики мастерских. По-видимому, мне не особенно доверяли. А мне все казалось, что веселые и бесстрашные эти люди только затем и собираются, чтобы пощекотать нервы, отвести душу от скуки. Поговорят, погрозятся, а после все согласны – выступить рано. Это мне очень нравилось. Я хоть и заговорщиком себя мнил, и оружие прятал, а в душе был уверен – ничего не будет, да оно и лучше, если не будет. Хотя оно, конечно, не мешало бы разогнать адмиралов, захватить суда и с красными флагами на Питер – гуляй, душа!..

Один меня тревожил немного, минер, по кличке Турок. Он-то, пожалуй, и был душой организации – огромный, рябой, с маленькими ястребиными глазками. Раз на собрание явился вестовой Сеня с забинтованной головой. Оказалось, офицер плеснул горячим чаем в лицо. Турок услышал, побледнел как мертвец. «Будь я подлец, – кричит, – они не переживут лета! Под корень вырежем ихнее семя проклятое! Сенька, кажись!» Развернул вестовой бинты – лицо в красных пятнах с волдырями. Что тут поднялось! У меня сердце ёкнуло. Все это уже ничего общего не имело с той щекочущей нервы игрой, которая меня привлекала. И надо же было быть такой беде, – этот человек чувствовал ко мне какую-то особенную симпатию. Говорит со мной

и улыбается почти любовно. «Ты, – говорит, – из ихнего лагеря, но ты теперь наш, перебежчик. Оттого ты и люб мне, как сын». Коробило меня от этой нежности, но что было делать? Может быть, я и порвал бы тогда с организацией, да самолюбие во мне на дыбы встало – мелкое самолюбие, мальчишеское. Как это, вдруг подумают, что я испугался? Так проходило лето. Собственно говоря, я был счастлив. Новое положение, китель с нашивками, кортик – все это мне еще не успело надоесть. На широкой улице кофейни с музыкой, цветник шикарных женщин, цыганки из «Стрельны». Красота! Ночные шатания на катерах по заливу, белая ночь над Маркизовой Лужей, жемчужный восход... Беззаботная легкость, кружение головы от вина, призрак отчаянного дела впереди. Где уж тут размышлять, познавать самого себя? Однажды, забежав под вечер домой, я нашел на столе записку: «Черти монахов погнали. Приходи на майдан!» Понял, что произошло что-то важное, но как-то не верилось в опасность. Помню, что перед уходом побрился и попрыскал духами на фуражку. Хотел после собрания на бульвар поспеть или в кофейню. Оно как-то даже пикантно всегда получалось – с собрания да прямо в кабак. В десять минут дистанцию огромных размеров покрывал. Понятно, это я скрывал, и даже самому как-то жутко бывало от этой противоестественной смеси... а нравилось.

Пришел я. Турок встретил меня в передней, обнял и поцеловал трижды. «Товарищ, – шепчет, – в Свеаборге на кораблях восстание. Офицеров утопили, андреевский флаг на портянки пустили, на Кронштадт идут. Есть телеграмма!» В квартире полно народу – вся организация. Жарко, как в бане. Распахнутые бушлаты, кумачные лица, голоса, охрипшие от насады, и какой-то отчаянный, нелепый восторг. Вестовой Сеня – он такой тихий был всегда, – слышу, кричит: «Братцы, отмучились мы теперь! В воду драконов!» А Турок ему ласково: «Надейся, Сенька, на развод не оставим, – и ко мне с праздничной улыбкой: – Дождались».

Сел я в уголок, ожидаю, вот кто-нибудь более осторожный спохватится, остановит: рано, мол, выступать. И тогда все будет по-прежнему – счастливо и занимательно, а не жутко... Но

получилось иначе. Турок сказал: «Завтра выступаем, поддержим товарищей. Кому шкуру жаль, лучше катись, не отсвечивай. Дело серьезное, братцы... Ну, голосую, кто отвечает?..»

Никто не ушел, никто не остановил минера. Молча все подняли руки. Поднял и я, глядя на других. В эту минуту я потерял способность действовать самостоятельно. Потом обсуждался план восстания. Кажется, я принимал участие, давал советы. Турок сказал мне: «Завтра к четырем склянкам надо вывести прислугу из фортов. Постарайся испортить замки орудий». Я согласился.

Со мной происходило то, что, вероятно, бывает с человеком, затянувшим на шее петлю, чтобы на секунду испытать ощущение повешенного. Знаешь, что все это в шутку, – нужно только подняться на носках, чтобы вздохнуть свободно. И вдруг ноги скользят, петля затягивается... в самом деле конец!

Я пытался вспомнить, что такое назначено у меня на завтра. Пристрелка по мишеням... верховая езда с китаяночкой Мако... фестиваль у енисейцев. Но что-то случилось. Я не мог вспомнить ни лиц офицеров Енисейского полка, ни их имен. Какие-то бледные тени... словно душу хватил паралич и чудовищно быстро окостенела одна ее половина. Зато я отчетливо представлял себе все, что произойдет со мною на фортах. Вероятно, командир уложит меня, едва я раскрою рот. Турок словно угадал мои мысли. Подошел, присел рядом, обнял: «Эх, милый, многих завтра недосчитаемся! Не думай об этом...» Как бы не так! Вышел я на улицу. Что за черт? Музыка на бульваре, «Тореадор».. Понимаете?

Касацкий засмеялся рассыпчатым, нервозным смехом и легонько ударил капитана по коленке. Евгений Степанович вздрогнул.

– Кончайте скорее, – пробормотал он со злобой, – как вы уцелели-то? Бежали после бунта, что ли?

– М-м... не совсем так... Я, Евгений Степанович, рассказываю о своих чувствах, а не о фактах... Думаете, струсил я? Медвежьей болезнью захворал, богу молился? Нет, не то, не то! Право, я был почти спокоен в ту минуту. Постоял, послушал, далась мне эта музыка проклятая. Стою и вижу мысленно – танцуют! Небо чистое, бледно-зеленое, – значит, день завтра будет ясный, ветреный. Да мне-то что до всего этого, думаю, когда завтра я

почти наверное буду убит! Они там на собрании целовались, чему-то радовались, чего-то ждали. Неужели смерти? Нет, конечно, нет! Или они уверены, что останутся живы? Тоже нет. Значит, они радовались тому, что наступит после их смерти... Предположим, говорил я себе, предположим, что удастся захватить форты, и корабли, и арсеналы, арестовать командиров, прорваться к Питеру, вооружить народ. Дальше мое воображение не шло. Ведь меня-то не будет уже. Как могу я радоваться тому, что стоит в стороне и чего я никогда не увижу, – я, живой человек, вчера еще обладавший будущим, которое казалось мне необъятным! Место на празднике заняла бы моя мертвая тень!

Касацкий поймал пристальный взгляд капитана и отвел глаза.

– Я жил долго, Евгений Степанович, у меня седые волосы. Но я не скажу, чтобы мне надоело жить. Хорош бы я был тогда в брезентовом мешке на дне Маркизовой Лужи. Вероятно, обо мне забыли бы назавтра. Разве что какая-нибудь добрая душа тиснула бы в подпольной газете статейку о мертвом герое. Б-рр! «Мертвый герой» звучит так же нелепо, как, скажем... симпатичный труп. Хотите быть симпатичным трупом, дуся моя? Я пасую, предпочитаю домзак!.. Да чего вы смотрите? Не согласны, что ли?

– Вы не кончили вашей истории, – промолвил Евгений Степанович дрожащим голосом, – пожалуйста, продолжайте!

Касацкий хрустнул пальцами и отвернулся.

– Не понимаю, чего вы хотите... Впрочем, черт!.. Хотите фактов? Извольте! Они выступили в назначенное время и перекололи караул. Разобрали пирамиды винтовок и пытались прорваться к фортам. Их встретили пулеметами... Бросились к арсеналу... Их окружили солдаты Енисейского полка... У них не было патронов. Начался расстрел. Их было не так уж много... К ночи все кончилось. Чего вам еще? Мелочей не помню, простите... Суда из Свеаборга так и не прошли. Ошибка была или провокация – не знаю... Удивительно быстро все улеглось. Свезли на катерах трупы, вымыли мостовую...

– Олег Сергеевич, а что же Турок? – спросил капитан едва слышно. – С ним-то что же случилось, расскажите.

Касацкий поднялся и заходил взад и вперед, ежась от пьяного

озноба.

– Что это вы вдруг о нем? Ну и любопытны вы, знаете... что да как, – он остановился и посмотрел как-то боком, не то улыбаясь, не то гримасничая. – Повешен! Подробностей вам надо? К сожалению, не помню подробностей.

Евгений Степанович сидел неподвижно, тяжело дыша, лицо его залила густая краска.

– Вы не все сказали, Касацкий, – заговорил он со стремительностью нерешительного человека, отважившегося высказать правду, – молчите, больше не надо.

Я слышал об этой ужасной истории... Там было предательство, и вам это хорошо известно... вы...

– Юродивый! – проскрежетал штурман, дрожа всем телом. – Ишь ведь что вздумал... Нет, вы в самом деле сошли с ума! Послушайте...

– Зачем, зачем вы рассказали мне все это? – вскрикнул Евгений Степанович, цепляясь за ручки кресла и силясь подняться. – Кой черт связал меня с вами?

Я не сочувствую вам. Меня мутит от ваших мыслей и от вашей близости... Ах, почему я не могу разоблачить вас... и себя?

– Душа моя, да стоит ли мучиться? – говорил Касацкий, протягивая руки и улыбаясь какой-то радостной, угодливой улыбкой. – У вас тоже есть что скрывать? Я знал это, знал! Мы связаны крепко и кровно... только, ради бога, молчок! Мы будем жить долго. Ведь и здесь бывают иногда неплохие минутки... Даже совсем неплохие... Теперь мы сыграем на этом соревновании, я это устрою. Я все устрою, Евгений Степанович. Только молчок! А если вы попробуете...

Он не договорил и бросился вслед за капитаном. На лице его быстро чередовались умильно-ласковые и угрожающие гримасы. Но капитан вдруг обмяк и как бы смутился. От недавней вспышки гнева не осталось и следа.

– Я сам ношу в себе подобное воспоминание... или еще хуже, – пробормотал он печально, – и я тоже не могу забыть и пытаюсь оправдаться перед собою, как и вы. Но не надо об этом говорить. Слышите ли? Никогда больше. А сказать, – нет, я никому не скажу. Никому... Powestler